

**Б.М. Козмин**

## Моя первая встреча с С.С.Гейченко

Каждому из живущих судьба отмеряет свой срок в подлунном мире, «Бегут за днями дни, и каждый день уносит частичку бытия», и вот мы, старые и старейшие сподвижники легендарного Михайловского «Домового» - Семена Степановича Гейченко, уже на пороге его столетнего юбилея.

Как он мечтал дожить до Пушкинского Двухсотлетия, для которого так много делал истово и вдохновенно! Но надо отдать дань справедливости, - судьба хоть и коварно-изменчивая дама, - к нему по большому счету оказалась благосклонной. Он прожил долгую, неумно-плодотворную жизнь, вполне согласную с постулатом нашего величайшего гения:

Блажен, кто понял голос строгой  
Необходимости земной,  
Кто в жизни шел большой дорогой,  
Большой дорогой столбовой, -  
Кто цель имел и к ней стремился,  
Кто знал, зачем он в свет явился...

И вот уже сто лет! А, кажется, давно ли был он среди нас, собирал на планерки и научные совещания малый наш коллектив, мудро и запросто по праву старшего и умудренного жизненным опытом учил и настаивал на пути бескорыстного служения святой земле, осененной высокими крылом Поэзии. Летит неудержимо время, «меняя все, меняя нас». Но оно же, это время, теперь уже навсегда откристаллизовало образ старого Михайловского хранителя, как Дух вечно-го присутствия, поселившийся в «глуши лесов сосновых» с тех пор, когда томился здесь опальный Поэт. Многие недоброжелатели Хранителя этого духа, ерничая, прозывали его «вечным наместником», вряд ли предполагая, поскольку им не терпелось дождаться радикальных перемен, что, не желая того от души, они все же делали ему комплимент.

Ну, кто теперь усомнится, что приведенные выше стихи Пушкина, и его же юношеские «Домовому», как нельзя лучше

*Козмин Борис Михайлович - хранитель музея-усадьбы Ганнибалов «Петровское» в Пушкинском заповеднике*

объясняют суть деятельности и самой жизни этого Человека, с которым довелось мне сотрудничать более двадцати лет в Заповеднике, который он поднял из руин и небытия.

Притяжение к «стране великих вдохновенных» у меня появилось через проникновенную и задушевную мелодию стихов Пушкина: «К няне», «Мой первый друг, мой друг бесценный», «Зимний вечер» и «Зимнее утро» и многое другое. Эти ясные и доступные песни души сформировали первоначальные и самые устойчивые на всю оставшуюся жизнь понятия.

Со взрослением этот интерес неуклонно возрастал. Я уже тогда для себя уяснил, - какие горечи в жизни мне ни выпали бы, - у меня есть неизменный духовный спутник и спаситель, который поможет в трудную минуту преодолеть все и взамен печалам приобщить к несказанным красотах мироздания. Тут я, конечно, прежде всего благодарен отцу своему Михаилу Владимировичу, несостоявшемуся художнику, рано приобщившему меня к знаковым именам высокой культуры и к возвышенным понятиям. Он первый объяснил, как умел, мне Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылова, Леонардо да Винчи, Сурикова, Глинку, Шаляпина и других. Дальше сам, в меру скромных возможностей нашего сибирского захолустья, стал продвигаться по пути более глубокого ознакомления и освоения сокровищ человеческого гения.

Но более всего, сразу и безраздельно пленила меня поэзия Пушкина. Пушкина воздушная громада! Я тогда дышал и сейчас дышу озонированным воздухом этой громады.

Двадцатипятилетним юношей, прочитав уже многое на излюбленную тему и сделав наряду с одноклассником полного Пушкина издания 1949 года, книгу Басиной «Там, где шумят михайловские рощи», я, наконец, осуществил свою давнюю мечту, - приехал на поэтическую родину Пушкина, поселившись в брезентовой палатке воронической турбазы.

Весь месяц находился в состоянии невыразимого очарования, созерцая и рисуя пейзажные мотивы всех окрестностей поэтической Мекки, где каждый уголок, каждое открытое пространство, хранимое незримым, ненавязчивым дозором в унисон звучало с пушкинской строкой. Величавый, смягченный благородным лирическим началом вид с Воронича на абрис Тригорского с извилами Сороти у подножия, тенистые липовые аллеи «огромного запущенного сада», «Ель-Шатер», хранившая под своей тенистой сенью удивительные преданья, «скат тригорского холма», где под липовыми сводами некогда скользила тень «поклонника дружеской свободы, веселья, граций и ума». Михайловское! - домик Няни, в котором столько было истинной души и правды, что с волнением переступив порог этого скромного обиталища, трудно было совладать с чувствами. И снова «липовая аллея, - самая знаменитая на свете, подавшая творческий импульс Пушкину к возникновению великого гимна любви - «Я помню чудное мгновенье», утвердившегося в сознании многих поколений через конгениальный романс Михаила Ивановича Глинки...

Удивительно, как легко, естественно, без малейшего усилия все высокое из прошлого здесь ложится на душу, что порой ловишь себя на мысли, - а был ли вековой промежуток между пушкинской эпохой и мною, оказавшемся в роли правоверного пилигрима в этих волшебных краях.

Насмотревшись к моменту первого своего посещения сих заповедных мест всякого и даже, как говорил классик, «свинцовых мерзостей жизни», мысли мои, разумеется, обратил я к воссоздателям этой адекватной пушкинскому мироощущению ауре.

Еще до первого своего посещения Михайловского в 1963 году я был наслышан о Семене Степановиче Гейченко как о директоре, хотя популярность его как личности исключительной в музейном мире тогда была еще впереди. Это потом уже на всю страну заговорили, что явился колоритный волевой мужик, талантливый и разумный, инвалид Великой Отечественной вой-

ны, сумевший в то голодное и разорное время собрать подле себя таких же фанатов и бессребреников, как и сам, и в трудах неустанных, как и в томительных ночных бдениях, через четверть века сотворил чудо.

Я был покорен окончательно и бесповоротно всем увиденным и пережитым, и с тех пор уже не мыслил себя, своего существования вне этих благословенных мест. Сызмальства по склонности натуры витая в облаках, за что мне нередко пеняли ближние и друзья, что мало забочусь о «нуждах низкой жизни», стал искать возможность здесь как-то поселиться, устроиться. К директору Заповедника некоторое время не решался с этим подойти из опасения, что могу получить шокирующий отказ, который может повредить всем моим надеждам и упованиям. Ведь таких, как я, искателей, предполагал я, у него хватает.

На первых порах я коротко сошелся с хранителем Святогорского монастыря-музея Васильевым Михаилом Ефимовичем и художником Владимиром Самородским, через которых старался лучше узнать о Семене Степановиче, об особенностях его характера и нюансах нрава, чтобы уж действовать наверняка.

Вооружившись суммой некоторых сведений, решил для этой цели, а не только для этюдов, в очередной раз пойти в Михайловское.

Почти каждый день моего пребывания в заповеднике строился из маршрута:

Воронич, Тригорское, Святогорский монастырь, Михайловское, Петровское. И это с полной выкладкой - большим этюдником, грунтованными картонами и холстами и прочими путевыми необходимостями, - всегда пешком. Для стороннего наблюдателя я вполне мог сойти за странствующего Тартарена из Тараскона. Пребывая в эйфорическом состоянии, усталость чувствовал только к ночи, отходя ко сну.

Был великолепный июльский солнечный день. Все окрест: и нежноголубоватые дали Петровского за зыбкой умиротворенной гладью озера Кучане, и струящаяся у подножия усадебного холма светлая Сороть, как и при Пушкине, безмятежно по-

мывающая зеленовато-шелковистыми струями длинные водоросли, и обилие белых и сиреневых флоксов на самой усадьбе, кустарники декоративные и фруктовые сады, могучие ели, подступающие едва ли не к дому Поэта, и отдаленные массивы соснового бора, обрамляющие с юго-востока Михайловское, - все покоилось в сладкой истоме зрелого летнего предвечернего часа.

Пришел в Михайловское, сразу я не нашел Семена Степановича. Решил зайти в кабинет его заместителя по научной части Владимира Семеновича Бозырева. Оставив весь свой груз у входного крылечка, вошел в тесный коридорчик, показавшийся мне сослепу после солнца тесным и затхлым, отыскивал кабинет: он был ближний от входа, и только сунулся к двери, вижу, выходит коренастый, плотный человек, довольно моложавый, очень уверенный в позе и движениях, с раскачкой хромающий. Тут же мелькнула мысль, заповедник инвалидов, как Белогорская крепость из «Капитанской дочки». Я к нему: «Скажите, пожалуйста, как мне встретиться с Семеном Степановичем или с Владимиром Семеновичем Бозыревым?» Он, тут же приободрившись, очертив негнущейся ногой на полу полукругие, игриво и громко произнес в ответ детсадовский куплет: «Это он! Это он, самый главный почтальон!» Скажи, пожалуйста, тут и администрация в рифму говорит, - подумал я. Видя веселое расположение духа второго лица заповедника, я уже, подавив робость, в таком же тоне продолжил: «Ну да уж на Вас прямо вышел, то позвольте спросить, нет ли на данный момент возможности устроиться на работу в заповедник?» Продолжение диалога тут же и скукожилось после мгновенного ответа: «По этому делу только к Семену! Он где-то здесь на усадьбе с художником Иосифом Серебряным».

Делать было нечего. Я вышел из сумрачного коридора научной части, навьючил на себя оставленный у крылечка груз и поплелся вдоль цветочной аллеи в сторону горбатого мостика, что у дома Гейченко. На полпути по левую руку вижу на подолочной скамье, сработанной Самородским без затей и изысков, примостившись в полуоборот друг к другу, беседуют двое.

Подхожу. Более рослого, донкихотообразного узнал сразу - Гейченко! Его собеседником был известный мне по публикациям журнала «Художник» крупный питерский живописец, автор выразительного портрета композитора Д.Д.Шостаковича. Еще приближаясь к маститым персонам, я так замедлил шаг, чтобы до прямого обращения на меня обратили внимание, прежде чем решусь вступить в важный для себя диалог. Уловка удалась.

Тот, что периодически смахивал крупной ладонью правой руки сивую прядь волос, поминутно распадавшуюся по красивому упрямому лбу, а левой культей прижимал серую папку под мышкой, зыркнув на меня, упредил: «Тебе чево? Ты кто такой?» Я чуть отшатнулся вправо. Искрой промелькнуло в голове, - и сразу без обиняков, - ты кто такой! «Ты», вроде как бы и по-свойски уже, а с другой стороны, может, как к очередному назойливому москиту или докучливой мухе, и, - не ко времени предстал во всей красе, - нарисовался!

Поборов смущение, я, с места в карьер: «Семен Степанович, извините великодушно за столь бесцеремонное вторжение, как бы это Вам так сказать...выразить... рассказать, но при этом не выглядеть смешным?» Он пристально, но все-таки, как мне показалось, не то с усталым, не то с ленивым оттенком посмотрел на меня, добродушно усмехнувшись, заметил: «А, это уже и так, хотя пока не смешно, но забавно, - просяив, рассмеялся вальяжно, по-барски, прибавив, - Прости, Господи, мою душу грешную. Ну, в чем дело?» - Да дело в том, что судя по всему я заболел и заболел самым, что ни на есть хроническим образом всем, что здесь вижу уже почти целый месяц и жизни вне этой ландшафтнoй среды в дальнейшем представить себе не могу. Посему прибегаю к Вашим стопам в надежде на Ваше благоволение к пришельцу из дальних краев, - завелся я на выспреннюю тираду, впрочем совершенно искреннюю по сути своей, но, почувствовав, что это начинает отдавать сиропом, осадил словесного Пегаса. Короче, - хочу у Вас в заповеднике работать! - закончил я твердо и внятно.

После непродолжительной паузы, чтобы, как я почувствовал, и собеседник директора включился в нежданную мизансцену, прервавшую спокойное течение их беседы, Семен Степанович протяжно, почти фистулой потянул: «Ну-у-у... вот и еще один соискатель Элизиума явился...» Произнеся сие, он тут же перевел взгляд свой с «соискателя» на маститого собеседника своего Иосифа, в тот же миг поправляя единственной своей увесистой ладонью еще не вполне поседевшую гриву волос, все время надоедно сползавшую на горделиво-упрямый лоб. Сиверкой мелькнула тень серьезной мысли на его чрезвычайно выразительном с четкими скульптурными чертами лице. Вот бы, написать! И в унисон ей, промелькнувшей мысли, он уже помягче, со смешинкой в голосе продолжил: «Дорогой товарищ! Многие здесь «заболевают» и хотят здесь жить. «РАБОТАТЬ!» - вставил я.

На последнее он не среагировал, а выжидающе сделал паузу, искоса взглянув на Серебряного в надежде уловить его отношение к возникшей не вполне кстати сцене, на меня, переминавшегося с ноги на ногу, и на мой лепет.

Иосиф Серебряный, видимо, в силу своего олимпийского положения в сферах искусства Северной столицы был при этом совершенно индифферентен. Вряд ли по душе пришлось ему мое появление в момент беседы со столь колоритной личностью - с самим Домовым поэтической усадьбы.

Хотя тут же должен заметить, из всех моих дальнейших наблюдений, как раз в таких неожиданных соприкосновениях с бесчисленными посетителями: страждущими и благоденствующими, ищущими и самодостаточными, чистыми как стеклышко и жуликоватыми, полнее всего раскрывались все новые и новые черты его характера, подчас и резкие, нелицеприятные. Именно эти зачастую спонтанные общения с ним позволяли составить об этом незаурядном человеке наиболее полное представление со всеми его блистательными и нередко противоречивыми проявлениями.

Не найдя со стороны именитого художника ни малейшего интереса к возник-

шей мизансцене и выдержав некоторую паузу, Гейченко начал в несколько ином тоне: «А откуда вы взялись?» и стал сверлить пронизательным своим взглядом меня с головы до ног. Я был тогда кудлатый и обрамленный густыми бакенбардами до самого кадыка и мог со стороны сойти за какого-нибудь Боро Широ.

Этот быстрый переход с «ТЫ» на «ВЫ», признаться, меня несколько обескуражил, похоже, будет отлуп... «Пустое Вы сердечным Ты...» тут же пришли на память пушкинские строки. Справившись с волнением уже не в первый раз за короткое время своего обращения, я начал повесть своих житейских коловращений, поисков смысла и места в жизни, и что выше и прекраснее ПОЭЗИИ Пушкина для меня нет ничего на свете. «Ну, так уж и нет?» - поддразнил он меня. Иосиф Серебряный несколько оживился, - «А как же тогда с прозой?» - полюбопытствовал он. «С какой прозой?» - встрепенулся я. «С пушкинской, какой же еще!» - продолжал он в том же духе. «Ах, пушкинской! так мне это та же поэзия, только в иной словесной стихии...» «М...да?! интересно!» - Слово «интересно» он произнес нараспев, как бы раскачивая средние его слоги.

У меня создалось впечатление, что он уже обо мне кое-что знает и наслышан через своих сотрудников Васильева и Самородского, с которыми по-приятельски я сошелся, а для них не было от меня секрета, что я постоянно освежал в памяти онегинские строфы романа в стихах, который на то время знал на память весь от первой и до последней строки, как знал и «Медного всадника», и «Золотого петушка», и другое.

Одним словом, он, по-своему обычаю, не стал меня «пытать» насчет моей осведомленности о творчестве Пушкина, чему свидетелем мне в отношении с другими приходилось впоследствии быть не раз. И ситуация к тому же не была подходящей, но все-таки он поинтересовался, что за «шедевр» скрывается у меня в кассетнике. Я на это добродушно осклабился, на что мой добрый «домовой», просяив, коснулся ладонью колена Серебряного, чтобы хоть так расшевелить его флегму: «О, о! - смотри,

Иосиф! зубы-то, зубы у этого бакенбардиста сияют, прямо-таки как у Пушкина!» Не скрою, это мне польстило несказанно и запомнилось на всю последующую жизнь.

На пике столь обнадеживающего короткого общения, я решил тотчас же откланяться, чтобы не понизить в его глазах о себе, как мне показалось, благоприятного впечатления, испросив при этом согласие на новую встречу и в более подходящих условиях.

«А показать мне пока что нечего... Только подыскиваю мотив.» На том и кончилась у меня самая первая встреча с хозяином Михайловского.

Триумф Гейченко и как художника музейного дела, и как первого из всех музейных деятелей страны, отмеченного званием Героя Труда и лауреатствами еще был впереди, но к моменту моего первого с ним знакомства он уже основательно утвердился как «Домо-

вой». Неустанными трудами, интеллектуальными бдениями и неусыпным дозором без дешевой позы и рисовки, восприняв это реноме как бы от самого Пушкина, и это уже само по себе выше всяких наград.

Как бы ни развивался воссозданный им из послевоенного небытия и праха Пушкинский Заповедник под руководством его наследников (не последователей!), как бы ни были они умны и предприимчивы, хоть и семи пядей во лбу, а все ж вторым-третьим «Домовым» им не бывать. Это только его! Как образное воплощение «незримого» и «зримого» стража «наследственной сени». У меня и теперь, и тридцать лет назад великолепнейший фотопортрет Хранителя работы Виктора Ахломова, - эталон образа. С этим образом внутренне я сроднился еще в Сибири, когда до достижения заветной цели было, как до звезды небесной, далеко.